

ЗАМЕТКИ И БИБЛИОГРАФИЯ

Л. С. КОВТУН, В. В. КОЛЕСОВ

Новый труд о древних теориях искусства слова на Руси

Чрезвычайно важный и во многих отношениях новаторский труд С. Матхаузеровой¹ ставит перед медиевистами множество актуальных проблем; эта книга будет изучаться, но самые первые впечатления от ее прочтения также могут оказаться полезными в дальнейшем.

В этой книге выявлены, если не сказать открыты, и исторически целостно изучены литературные теории древнерусской письменности. Сама преемственность литературы, по словам автора, есть определенная форма теоретического обобщения, так как образуется в итоге осознания достигнутого предшественниками, путем освоения их художественного опыта.

Для древнерусской книжности, отмечает автор, характерна рано выработавшаяся традиция литературного изображения. Эстетические традиции — стили, жанры, основной запас образов (что можно понимать и как художественный язык) складывались как при чтении литературных произведений, так и при восприятии и формировании тех или иных теорий.

Цель автора — выяснить, были ли такие теории в древнерусской письменности. В источниках оказались их несомненные следы. Уловив отдельные свидетельства и факты и обобщив их, исследователь сумел воссоздать ход развития мысли, ее историческую логику и изменчивость применительно к историческим обстоятельствам.

Упомянув о трактате Георгия Хировоска «Об образах» в древнерусских списках Изборника 1073 г. как о примере литературной теории в самом узком смысле (теория тропов), Светла Матхаузерова замечает, что теоретические высказывания есть и в других сборниках (пожалуй, больше всего в Изборниках) и что в своих изысканиях она ориентируется именно на эти тексты.

«Столкновение теоретических обобщений имело чаще всего свое место в догматических спорах, сопровождающих новые переводы книг, их канонизацию или исправление» (с. 9). Обращение к подобному источнику при разработке объявленной темы, возможно, покажется неожиданным. В этом, как и во многом другом, видна пронизательность автора и глубина его знакомства с культурой русского средневековья.

Оригинальность книги сказалась и в том, что рассмотрение суждений и концепций, причастных к избранной теме (искусство слова), начинается в ней не с древних источников, а ретроспективно, с XVII в. Реформы патриарха Никона резко обострили догматические споры, поэтому особенно четко обозначились все бывшие подспудными противоречия. И те, кто отстаивал новое, и те, кто защищал отвергаемое ими, стремились к теоретическим обоснованиям своей позиции и к обобщениям. Уже в самом начале книги автор использовал это оживление теоретической мысли

¹ С. М а т х а у з е р о в а. Древнерусские теории искусства слова. — Acta Universitatis Carolinae Philologica, Monographia LXIII, Praha, 1976, s. 146 (далее с. указаны в тексте).

для очень яркого представления дифференциальных признаков расхождения. Непостижимость красоты, определяемой идеальными константами качества и воспринимаемой чувством в постоянстве символа (т. е. аллегории), субстанциональность текста, т. е. ориентация на синтагматические цепи с одновременным отрицанием грамматики как организующей силы языка и вместе с тем с абсолютизацией некоторых грамматических категорий (вечносущие — аористные и мимощедшие — перфектные формы), истовая вера в букву как в знак, воплощающий бога посредством канонического текста, пренебрежение излишним украшательством в стилистической сфере изложения — у Аввакума и у его сторонников. Познание как одна из форм прекрасного, которая доступна измерению и постигается в ее развитии, пропорциональность и соразмерность вещей, возможность их познания; поэзия разума, а не чувства; интерес к изменчивому символу и многозначность этого символа; сопоставимая ценность текста в его отношении к грамматической системе, а следовательно, и выработка «парадигматического» миросозерцания; свобода субъекта по отношению к каноническому тексту (правда, текста не в его незыблемой вечности, а в постоянном столкновении с познавательными способностями читателя в связи с развитием знания); предпочтение звону (звуку, звучанию), а не букве, т. е. в представлениях того времени — мирскому, а не освященному; любование тонкими извилами стилистически вычурной формы — у С. Полоцкого и его сторонников. Светла Матхаузерова четко показывает, как по мере обмирщения литературы и ее демократизации все ошутимей становилось воздействие новых факторов ее развития — науки и образования.

В ходе пристального анализа материалов определились и были выдвинуты в качестве ключевых четыре аспекта изучаемой проблемы, которые, как оказалось, жестко связаны друг с другом и изофункциональны в своих проявлениях: 1) поляризация эстетических взглядов в русской культуре как отражение социальной борьбы на исходе средневековья; 2) теория перевода; 3) теория стиха; 4) мировоззренческий характер стилеобразующих доминант, например, представление о времени.

Обобщение показаний источников требовало сочетания философского, историко-литературного и лингвистического подходов к предмету и объекту изучения. Синтетический анализ данных привел автора к важнейшим результатам. Они существенны и для филологии в целом и для отдельных, ее составляющих, дисциплин.

В первом отделе книги прямой выход в лингвистику имеют проблемы текста, художественного значения и попутно затронутая проблема глагольных времен. Нельзя не упомянуть и о лексикографии, хотя непосредственно о ней в исследовании автора и нет речи.

Говоря о начитанности как об особом типе образованности, автор пишет, что и до XVII в. несомненно существовало четкое представление о «беззавистной отеческой науке», но еще не возникло нужды в ее точном определении: «Только столкновение с критицизмом никоновской реформы и с влиятельной наукой Киево-могилянской академии заставило московских книжников попытаться сформулировать характер и смысл своего типа образованности» (с. 14). Видимо, в этой связи стоит учесть, что со второй половины XVI в. стал складываться и активно развиваться на протяжении всего XVII в. особый тип словарей — азбуковники (или алфавиты) иностранных речей, которые со временем образовали обширный и весьма характерный раздел древнерусской книжности. Созданные в этот период азбучные своды лексики содержат не только переводы иноязычных слов, но и истолкования понятий, в том числе и символики, описание реалий, сведения об именах и лицах, и т. д. По всей видимости, они как раз и были направлены на утверждение того самого принципа начитанности, о котором говорится в книге Светлы Матхаузеровой. Не случайно предисловия азбуковников обращены к благочестивому и рачительному читателю, а их источники — в основном «книги благодатного закона». Назна-

чение азбуковников в том и состоит, чтобы способствовать пониманию этих книг, усвоению их текстов. Азбуковники возникли на базе экзегетики и переводческой культуры шести веков.

В исследовании нашего автора проведена мысль о мировоззренческой подоснове всех стилистических категорий. Авторский стиль и стиль литературной школы отражает то или иное видение мира. Так, понятие абсолютно прекрасного, принятое в творчестве Аввакума, «повлияло на его образную систему, его метафоры, символы, эпитеты, на отношение к тексту и его толкование...» (с. 17). Это воздействие было всеобъемлющим, организующим языковую ткань вплоть до грамматических категорий; «мир абсолютных идей потребовал своего абсолютного времени, вечного, без начала и без конца. . . В этом мире нет и движения, есть только абсолютное существование» (там же). И далее о связи этих элементов, о наличии художественной системы: «Эстетические взгляды и их реализация в творчестве Аввакума представляют единство. Все было взаимосвязано, и отказаться от единственного эпитета или глагольной формы нельзя было без нарушения всей концепции» (там же).

С той же отчетливостью представлены в книге и основы эстетических воззрений противников школы Аввакума — Симеона Полоцкого и других, которые также исходят из христианского мировоззрения, но уже прошедшего период схоластики и ренессанса. «Учение о пропорциональности или соразмерности вещей сделалось основой новой эстетики» (с. 18). Платоновские понятия пространства уступили место понятиям аристотелевским. Статическим количествам противопоставлено движение и процесс. «В физике Аристотеля универсальный строй проявляется как иерархия мест. Эта соизмеримость делает возможным движение и стремление к более высокому назначению» (с. 19). Образы Симеона Полоцкого динамичны. В этой связи в книге поставлены в оппозицию два типа образов — аллегория и метафора. Значение аллегорического символа, — отмечает автор, — закрыто, «оно раз навсегда дано и дальше не развивается: корабль, солнце, луна и т. д.» (с. 20). Та же мысль высказана и выше, где говорится, что именно такой тип образов предпочитал Аввакум (с. 17). Однако, видимо, стоит отметить, что подвижность метафоры остается в границах реального мира, пусть даже и фантастически преобразованного. Что касается аллегории, то в силу своей условности, знаковости она при статичном значении обладает практически неограниченной свободой модификаций. Поскольку в аллегориях средневековых текстов скрыт внутренний, духовный мир, мир абсолютных идей, непостижимых и неизмеримых, поскольку эти символы даже избранным открываются лишь отчасти, представляя то в одной, то в другой из своих ипостасей, то и раскрытие («познание») их мыслилось как беспредельное, каждый из текстов мог получить не одно, а много, причем несходных, а иногда и противоположных толкований. Отсюда возникали пучки символов, скрывающих тот или иной «духовный» смысл, и, наоборот, те же самые символы выступали как знаки вовсе несходных объектов.

Показательны в этом отношении статьи старинных словарей, где по византийской традиции толкуются символические значения имен библейских мест и персонажей, наименований народов и т. д. Приведем несколько примеров из глоссария XVI в., названного «Скудных язык произволение» (по списку ГПБ, Соловецкое собр., № 907 (1017), л. 484—496): *едem* — 'пища,² жизнь, помощь и печаль'; *заулон* — 'ночевание, и молва ночная, и разум'; *Илья* — 'солнце и божья крепость'. Ср. также статью из азбуковника конца XVI в. (ГБЛ МДА, 173 (35), Л. 84), где проявилась контрастность приводимых значений: ефиопи—смирени, наричет же писание и бесов мысленне аврялянами, и ефиопами, и муринами.

² В значении 'наслаждение, радость, блаженство', возникшем в результате ошибки переводчиков, смешавших греческое слово *τροφή* 'пища, еда' со словом *τρυφή*.

Символами бога поэтому могли оказаться и *свет*, и *тьма*. Упрекнутый Никиту Добрынина в незнании патристики (в том, что ему незнакомо толкование образа «тьма» Дионисием Ареопагитом) Симеон Полоцкий, как и тот, с кем он спорит, видимо, воспринимают этот образ как метафору, а не как аллегорию, если ищут для него естественных оснований.

Символы средневековья — явления религиозного сознания (это не риторические фигуры из трактата Хировоска, хотя и он был знаком русским с XI в.). Отрицая греческую мифологию, Аввакум (так же как и азбуковники в их следовании византийским хроникам и Максиму Греку) отвергал в ней не «античное искусство» (с. 14), а язычество, нехристианские верования.

Обе концепции текста, которыми располагал XVII век, — субстанциальная и рационалистическая, — нашли отражение в теории перевода. Второй раздел книги и посвящен теориям перевода от древнейшего периода вплоть до XVII в. Во всех тонкостях рассмотрен и последний этап развития древнерусской культуры, предваивший петровское время (см. с. 27—55).

До сих пор концепции перевода были известны лишь в самом фрагментарном виде. Автору удалось выявить их основные черты и тем самым в сущности доказать их реальное существование. Анализ взглядов по вопросам перевода показал, как тщательно они продуманы. Переводческие теории предстали в виде целого ряда противостоящих друг другу и сменяющих друг друга концепций. В книге отчетливо показано, чем и почему каждая из них обогатила древнерусскую культуру.

Тщательно разобраны суждения о переводах, представленные в Македонском листке, принадлежащие, по А. Вайану, Кириллу (Константину), и развитие их в «Прологе» Иоанна Экзарха. Эта наиболее ранняя из славянских теорий перевода названа автором теорией открытого перевода. Ее основной принцип: перевод по смыслу, примат содержания над выражением. Светла Матхаузерова подчеркивает широту культурно-исторического подхода к тексту первоучителей славянства, а также и связь этих взглядов с философией стоиков, с позднеантичным стоицизмом и средневековой схоластикой, близость их вместе с тем и к современным знаковым теориям (у св. Августина *signum* 'знак' как совмещение двух его компонентов: *signans* и *signatum*).

В связи с изложением концепции открытого перевода большое внимание уделено специфически философскому значению слова *разум* 'смысл, значение, содержание' в его противопоставлении термину *глагол* 'слово', понимаемому как материальная данность. Автор пишет, что в Македонском листке и «Прологе» Иоанна Экзарха *глагол* и *разум* представляют две стороны слова и текста. В трактатах проводится мысль о том, что соблюдение смысла стоит выше дословности перевода (с. 33).

Здесь возможны и некоторые дополнения. При анализе семантики средневековых терминов непременно приходится учитывать ее архаичку. Синкретизм значения слова *разум* в этот период сказывается в самой высокой степени. О каком разуме идет речь? Автор полагает, что при употреблении этого слова в трактатах реализуется понятие 'содержание, значение, смысл', а специфически религиозное понимание этого слова, сближающее его, например, с такими словами, как *мудрость*, *премудрость*, уходит на второй план. «Слово *разум*, конечно, имело в данной теории перевода еще одно значение, — пишет Матхаузерова, — а именно тот образный смысл, который относится к какой-то другой действительности и который скрыт в словах, как в явлениях более низкого плотского характера» (с. 33). Но дело в том, что это семантическое явление вряд ли верно характеризовать как «еще одно значение»: смыслы слова *разум* выступают еще нерасчлененно, они как бы наслаиваются друг на друга. Данное слово, как и многие другие, в силу этого может быть понято и так, и иначе, и в реальном, и в религиозном планах. Не имеют четкого разграничения

и такие семантические филиации слова *разум*, как «значение слова» и «значение всего контекста», а в применении к специфическому объекту — переводу Писания — это означает богословский смысл переводимого сочинения. Характерно, что при слове *разум* может и не быть ограничительных определений типа *вдушный, духовный, внутренний*, и тем не менее передаваемый ими смысл подспудно присутствует в его семантике, проявляясь то в тех, то в иных контекстах. Двойственность, таким образом, заключается не только в наличии двух сторон содержания и выражения, но и в том, что за содержанием текста, по представлениям того времени, кроется некое духовное начало, раскрытие которого и являлось целью экзегетики (Толковая псалтирь, Толковое евангелие, Толковый апостол и др.).

Синкретизм средневековых терминов может быть выявлен лишь при сопоставительном изучении истории их развития (*мудрость, разум, ум, слово* (λόγος и ῥῆμα), *речение, речь, глаголение, глагол, имя* и т. д.) Ср., например, сочинение Максима Грека «Беседует ум к душе своей». Сложность и особый характер семантики слова *ум* в этом применении явно обнаружат себя, лишь только мы сопоставим его со всем комплексом выражаемых этим словом в древних текстах значений.³ Следует уточнить и представление о знаке. Средневековый знак — это совокупность значений не только одного слова, но и всех семантически близких (перечисленных выше) слов, и эти значения по принципу парадигматических отношений как бы «вкладывались» друг в друга, и каждое из них раскрывалось лишь в определенном контексте и только в системе своих собственных отношений, например, только в определенном жанре или типе высказывания. В этом-то и заключается трудность расшифровки средневекового источника с точки зрения его стиля. То же относится и к словесному знаку, т. е. к глаголу. *Глагол* не противопоставлен *разуму*, если в тех же контекстах (именно так и обстоит дело с сочинениями Иоанна Экзарха) *глагол* противопоставляется еще и *гласу* («гласы нагы»); следовательно, в полном соответствии с пониманием Августином этой проблемы мы можем говорить о том, что *глагол* есть совмещение *гласа* и *разума*, а при таком толковании *разум* есть «означаемое» — категория более широкая, чем «смысл, значение».

В историческом осмыслении нуждаются и собственно филологические термины, например, такие, как *грамматика* и *грамматический*. Нужно учесть и специфику их употребления в древних текстах, и некоторую вольность в применении их исследователями при разборе явлений древнерусского и среднеперусского периодов. Исторические словари не отмечают эволюции семантики слов *грамматикия*—*грамматика* (например, того, что под воздействием комплексного значения греческого γραμματικῆ τέχνη слова эти сближались в известной мере то с термином *философия* (любомудрие), то со словами *риторикия*—*риторика*).

Что касается современных исследователей, то они все старинные сочинения о языке (и по фонетике, и по орфографии, и по просодии и т. д.), а не только по грамматике именуют «грамматическими», делая исключение лишь для словарных опытов. В этом они следуют за старинными грамматиками, в которых на вопрос: «В koliko частей граматика делится?» — следовал ответ: «В четыре части: во орфографию, во етимологию, в просодею, в синтаксис» (Азбуковник, ГПБ, Q. XVI.7, второй половины XVII в.). Но это, как кажется, не способствует ясности изложения и пониманию текста.

В книге Светлы Матхаузеровой термин «грамматический» служит для квалификации переводческой концепции Максима Грека, а также и его теории стиха. Между тем Максим был не только грамматистом, но

³ По свидетельству исторической лексикографии «душа, совокупность духовных сил», «способность мыслить и познавать, разум», «разумение и понимание», «рассудок», «мысль», «образ мыслей» и т. д. (С р е з н е в с к и й, т. III, стб. 1211 и след.).

столь же выдающимся лексикологом и лексикографом (возникновение азбукоников — прямой результат деятельности его последователей), и стилистом. «Разум» отдельных частей и оригинала и перевода ставился им в прямую зависимость от верного понимания и выбора слов, а точность перевода он проверял общим смыслом всей фразы и соответствием идеологии и стилю всего сочинения. Отметив это некоторое расхождение с автором, хочется все же сказать, что в книге Светлы Матхаузеровой филологическая деятельность Максима Грека получила на редкость яркое и разностороннее освещение, причем последовательно во всех главах исследования.

В общей хронологической последовательности «смены теорий перевода» (открытый—вольный—пословный—грамматический—синтетический), которую тонко воссоздает Светла Матхаузерова чисто аналитически, видимо, на самом деле не было резких граней. Е. М. Верещагин говорит о пословности первоначального перевода Евангелия, Климент Смолятич в XII в. призывал к «плетению словес», а Кирилл Туровский тогда же этот принцип отчасти и воспроизводил в своих цитатах и пересказах; переклад как форма вольного перевода широко распространился в новое время; другими словами, не будет ли вернее говорить, что развитие науки о переводе происходит как изменение принципов перевода в связи с преимущественным вниманием к какой-то одной стороне дела в соответствии с конкретными историческими, художественными и идеологическими аспектами духовной жизни общества? (см. сказанное автором книги на с. 55).

В исследовании теории стиха Светла Матхаузерова также дает своеобразную периодизацию типов стихосложения, легко соотносимых с мировоззренческими и художественными симпатиями определенного времени: 1) ритмико-динамическое стихосложение народной поэзии; 2) древнеславянская силлабическая поэзия; 3) переводная книжная поэзия, основанная на ритмической организации акцентов; 4) ритмическая организация текста в стиле «плетения словес»; 5) грамматическая концепция стихосложения, основанная на искусственной системе количественных противопоставлений гласных в XVI в.; 6) новый силлабический стих, основанный уже на эстетической концепции стиха.

Исчерпывающе и доказательно показано своеобразие каждого типа и его связь с особенностями языка определенного времени. Совершенно ясно, что историческая смена типов стихосложения есть уже собственно развитие на национальной почве, потому что связана с изменением форм языка. При этом этапы собственно развития сменялись этапами временной стабилизации и даже возвращения к старым типам стихосложения. Например, типы 3 и 5 — несомненно реакция на бурное развитие народных форм стихосложения в определенные эпохи, своеобразная попытка подавить их проявлениями традиционно книжной культуры. В содержательном отношении 3 тип есть реакция на тип 2, а 5 — реакция на тип 4, но все они несомненно связаны с определенной ритмической организацией художественного текста, существующей реально в языке, которую Р. Пяккио назвал «изоколическим принципом членения древнерусского текста» и которая связана с ритмическим чередованием акцентов в равносложных стопах. В таком случае развитие средневекового стиха оказывается «обузданием ритмичности текста», построением «парадигмы стиха». Очень интересны наблюдения Светлы Матхаузеровой над совмещением ритма и напева, ритма и исполнения, и т. д. — синкретизм древнего стиха от формы к форме постепенно вычленил «стих» из музыки, из сопровождения, из языка. Однако в древности подобное совмещение стиха и музыки при исполнении несомненно, но если это так, тогда неясно, каким образом может, например, силлабический стих развиваться в языке с музыкальным ударением (как в древнерусском до XII в.) или почему следует отказываться в утверждении зависимости между средней длиной древнерус-

ского слова и типичной «стопностью» древнерусского (былинного) стиха? Эта связь кажется несомненной и подтверждается существующими статистическими разработками древнерусского текста. Добавим, что автор очень пронизателен в наблюдениях над историей развития стиля «плетения словес», его функциональных особенностей; это же можно сказать и об изучении «меры и согласия» в творениях Симеона Полоцкого.

Но мы обратим внимание читателя на другую теорию средневекового стихосложения, которую автор называет грамматической и которая связана с именем Максима Грека. «Стих стал сознательно изучаться как специфическое языковое явление, подлежащее закономерностям чисто языкового характера», стихотворство «стало предметом грамматических и специальных статей» (с. 91), т. е., формулируя иначе, обозначился переход от текстуально ритмической организации слова на «парадигму стиха». На примере данной теории стиха можно видеть, что и прерывы постепенности в развитии средневековой поэтической техники на самом деле не являлись регрессом; это были периоды остановки с целью теоретического осмысления достигнутых результатов и подготовки к следующему этапу развития. Византийский стих с характерными для него количественными признаками ритмизации стал как бы масштабом для сравнения с известными типами стихосложения. В данном случае в центре внимания не буква, а звук (долгота или краткость слога), не содержание текста, а форма его воплощения. Сразу же стало ясно, что распределение долгих и кратких гласных в русском языке не соответствует подобному распределению в других языках, например в греческом, и потому русский стих должен получить свое развитие на основе законов русской просодии и фонетики. В тот исторический момент, о котором идет речь, только на материале стихосложения, видимо, и возможны были разработки в области просодии и фонетики слова; судьба авторов «Лаодикийского послания» показывает, что изучение этих проблем на другом материале становилось делом небезопасным в условиях усиления церковной и государственной ортодоксии.

Самостоятельный интерес в книге представляют и ритмические реконструкции стиха в текстах Максима, проведенные Светлой Матхаузеровой. Эта часть книги иллюстрирует огромные возможности, которые открываются при исследовании средневековой поэтики лингвистическими методами, что и показано автором на примере его реконструкций. Необходимо только оговорить, что представленная реконструкция несколько абстрактна, дана как один из возможных вариантов, она не всегда учитывает реального соотношения позиционных долгот в древнерусском языке. Приведем пример.

В «Сявилле» большинство стихов (шестистопный размер) указывает на гекзаметр. Квантитативный ряд строится следующим образом:

Изпоеет бо земля знамение суда егда будет.

— ∪ ∪ | — ∪ ∪ | — || — | — ∪ ∪ | — ∪ ∪ | — ∪

Транскрипция реальных звуковых соответствий на самом деле иная:

Испотѣет бо земля // знаменьє суда егда будет.

Если же квантитативный ряд совместить с позиционным распределением акцента (который не мог не принимать во внимание русский стих), то окажется, что две соседние краткости равны одной долготе, а в каждой стопе оказывается хотя бы один ударный гласный:

— ∪ | — ∪ ∪ ∪ — | — ∪ ∪ ∪ — ∪ | ∪ ∪ — ∪.

Следовательно, в данной строке число мор по стопам соответственно оказывается 5+5+5+5+3=23 моря на 17 слогов.

Такое же положение и в следующих стихах этого текста, ср. некоторые уточнения к реконструкции Светлы Матхаузеровой (с. 97—100):

Приидет же с° небесе царь веком бѹдущим

— ∪ ∪ ∪ | ∪ ∪ ∪ ∪ || — ∪ | — ∪ ∪ ∪ = 5 + 4 + 5 + 4

Плоті прииде всякой и міру всему сѹдит

∪ — ∪ | ∪ — ∪ ∪ | ∪ — ∪ ∪ | ∪ ∪ — ∪ = 4 + 4 + 4 + 5

Узрять же бога чловѣци вѣрнии и невѣрнии

— ∪ ∪ ∪ | ∪ ∪ — ∪ || — ∪ ∪ ∪ ∪ | ∪ — ∪ ∪ ∪ = 5 + 5 + 5 + 5

Вышняго со святыми на концѣ вѣкомъ

— — ∪ | ∪ — ∪ — | ∪ — ∪ ∪ | — ∪ = 5 + 5 + 5 + 5

Легко определяется особенность такого НЕграмматического стиха: разделение по морам происходит не между словами, а именно по принципу общего членения текста; следовательно, стих оказывается чем-то общим, он целен в ритмическом отношении и не разграничивается грамматически. Здесь налицо совмещение двух принципов: стопограницы создаются ударением (причем ударение акцентно слабых слов не принимается во внимание), а сами стопы строятся по квантитативному принципу. Ударение оказывается чисто синтагматическим признаком, оно не являлось еще строго лексическим (смысловым) и согласно обозначениям в русских акцентованных рукописях XVI в. (с XVII в. оно как раз уже ставится над каждым словом отдельно, в том числе и над служебным словом!). Для этой системы важно также, «мягкие» или «твердые» слоги вступают в ритмическое соотношение: мягкие всегда воспринимаются как длинные, а твердые — нет, ср.:

Лядича егда весь миръ терчеи будет.

— — ∪ | ∪ ∪ — ∪ | — ∪ — | — ∪ — = 5 + 5 + 5 + 4

Эта особенность (хотя и факультативная) также соотносится с собственно русской фонетикой, которая накладывалась на квантитативный византийский стих, «приручая его» к русской почве (долгота «мягких» слогов обозначается и в грамматических руководствах того времени).

Влияние общемировоззренческих импульсов на развитие даже и собственно грамматических категорий раскрывает последняя глава книги, посвященная становлению понятия времени в эстетических представлениях средневековой художественной культуры: времена вечные (например, аорист) по необходимости отличались от преходящих (перфектная группа). Основной пафос книги Светлы Матхаузеровой — обратить внимание на те дифференциальные признаки эстетики слова, которые в различные эпохи развития русской культуры становились доминирующими. Тем не менее многие явления существовали на протяжении всего средневековья, хотя иногда они могли находиться и на периферии культурной жизни. Это относится и к использованию форм прошедшего времени в символическом значении. Еще Кирилл Туровский в своих молитвах строго разграничивал аорист и перфект в зависимости от субъекта действия, то же характерно для всей средневековой литературы, а протопоп Аввакум, неустанно редактируя текст своего Жития, старается использовать аорист только в «высоком» стиле и в прямых цитатах из Писания. Но есть одна грамматическая тонкость в текстах Аввакума, мимо которой нельзя пройти, поскольку это одна из доминант его стиля. Если перфект — «мимошедшее», а действия простого человека нельзя передать формами аориста (только упоминания о боге, бесах, а изредка о самом Аввакуме сопровождаются употреблением аориста), то для обозначения «вечного, постоянного» действия простого человека используется настоящее историческое, т. е. формы

настоящего времени в значении прошедшем, ср. замены в редакциях Жития: *плакала и рыдала* > *плачет и рыдает*; особенно часта замена перфекта на причастие настоящего времени: *сотворил* > *сотворя*, *вскочил* > *вскока* и др. Противопоставление вечного и текущего времени в XVII в. как бы нейтрализуется в «вечном настоящем», которое понимается как «текущее прошлое». Даже Аввакум, хранитель средневековой традиции, в своей конкретной художественной практике на уровне формы не мог противостоять давлению нового, а это давление определялось тем, что система русского глагола изменилась с XII до XVII в. совершенно, необходимо было искать какие-то эквиваленты для выражения старых символических отношений хотя бы и ради того, чтобы не казаться слишком смешным в глазах современников. Таким-то образом традиционализм Аввакума и оборачивается революционностью его языковой формы: последняя вынуждена.

В интересные и перспективные соображения Светлы Матхаузеровой хотелось бы внести одно уточнение. Символика средневекового текста пользовалась архаичными грамматическими формами весьма широко, но обычно в тернарном противопоставлении; например, в отношении времени: как можно судить по некоторым грамматическим (стилистическим, риторическим) руководствам, кроме аориста и перфекта использовался еще и совершенно вышедший из употребления имперфект. Преследование Максима Грека и было вызвано тем, что он своими парными противоположностями пытался нарушить сложившееся представление о троичности отражения «мира», выраженное таким образом:

божественное — человеческое — бесовское		
аорист	имперфект	перфект
мужское	среднее	женское
единственное	двойственное	множественное и т. д.

Средневековое мировоззрение в принципе тернарно, поэтому и символические оппозиции обязательно строились по градуальному принципу. Между прочим, именно это и задерживало развитие грамматических форм в церковнокнижном языке, хотя вместе с тем и определяло направление последующих нейтрализаций в пользу нейтрального варианта, нейтрализаций, которые определялись в столкновении народно-разговорного языка с церковнокнижным. Аорист обозначал само действие, имперфект — характер действия (отсюда смешения с формами несовершенного вида), перфект — качество действия в прошлом. *Ста ту* — действие (по 'преимуществу, *стоязуть* — характер длительного действия вне времени, но *стальсть есть* указывает на качество, обозначившееся как результат действия в прошлом. Поэтому *горѣльсть есть* — это просто *горелый, уныль бѣ* — это *унылый* и т. д. Тождественность форм на протяжении длительного времени существования древнерусской литературы еще не отражает тождественности их значений, и это следует постоянно помнить. Смысл стилистического анализа и заключается, как кажется, не только в указании на символическое использование грамматических форм, но и на те возможные изменения в смысле самих грамматических форм, которые в связи с изменениями языка постепенно заглушают смысловой ряд древнего текста. В этой связи хочется указать следующие глубоко справедливые слова автора, отражающие самый глубинный смысл происходивших сдвигов — и в языке, и в художественном освоении мира, и в мышлении. «Культура, пользовавшаяся латинским языком, была культурой цивилизационного понятия времени, измеряющего время движением пункта (-точки — авторы) в пространстве. Такое понимание времени считалось с определенной точки зрения, которая сама по себе может меняться, и глагольные формы выражают прежде всего временное отношение действия к этой точке зрения. Евфимий, наоборот, как сторонник средневекового субстанциального понятия времени, по которому время не движется, а только рас-

пространяется в своем ограниченном или бесконечном существовании, старался закрепить за этим понятием определенные глагольные формы славянского языка» (с. 120) — потому что «время еще сохраняло свой цвет и запах, будучи отчасти процессом, отчасти предметом, иногда двигаясь, а иногда останавливаясь на месте, чтобы излучать вечность» (с. 126). Совокупность всех этих вопросов, встающих перед исследователем, когда он приступает к изучению древнерусских текстов, настоятельно требует совместной работы специалистов разных областей знания. Во всяком случае, смысл древней литературы невозможно понять без предварительной расшифровки ее поэтики, воплощенной в языковых формах. В том, что эта мысль еще раз высказана со всей отчетливостью, бескомпромиссно и доказательно, и заключается основная заслуга Светлы Матхаузеровой.